Квиртинель

На тринадцатое утро ноября

1

Я проснулся ранним утром, когда солнце только-только выглянуло из-за линии горизонта, разгоняя синь ночных сумерков. Его призрачное сияние просачивалось в узкую щель меж задёрнутых штор, слишком слабое и хрупкое, чтобы разогнать полумрак внутри комнаты. Окно выделялось светлым прямоугольником на фоне тёмной стены, и некоторое время я лежал в постели, не открывая глаз. Такая же темнота царила внутри моей головы, однако солнцу было не суждено пробраться внутрь. Подобно прохладе нежной руки сон ласкал мой трепетный разум, и я протягивал свои руки ему навстречу. Я желал ухватиться за него и притянуть как можно ближе к себе, дабы тот задержался ещё на несколько минут. Все попытки оказались тщетны, и сон отдалялся прочь, унося с собой блаженность образов из дальних миров светлой грёзы, а место его занимало нарастающее восприятие реальности.

Я лежал с закрытыми глазами, и чувствовал, как с каждой следующей секундой реальность всё тяжелее наваливается на меня: матрас под телом, одеяло сверху и взмах уставшего в одном положении хвоста под ним. В прихожей щелкнули стрелки часов и потом выжидающе затихли. На чердаке, прямо над моей кроватью, зашуршала сонная птица. Один из тех воробьев, что облюбовал уголок крыши, вероятно, сейчас точно так же летел вдогонку за уходящим сном, выбивался из сил и в итоге просыпался в своём гнёздышке, свитом из сухой травы и собственных пёрышек у козырька крыши где-то за старыми, пыльными коробками, кучами ненужной одежды и прочих забытых вещей, не разлепляя сонливых глаз, покуда крошечное и одновременно такое великое птичье сознание в полной мере не ощутит присутствие окружающего мира.

Помимо всего прочего, мои уши ощутили ещё один звук. Сквозь шум в голове, который обыкновенно незаметен для фуррей в повседневности и вдруг возникающий в тишине, подобной тишине предрассветного часа, проступило тонкое и едва ощутимое звучание. С огромной долей вероятности любой услышавший его фуррь не проявил бы особо должного внимания. Тихое звучание, легко прерываемое собственным дыханием, очень просто могло сойтись за игру воображения, как иной раз можно услышать свою имя из несуществующих уст, или шаги в соседней комнате. Обычное дело, совершенно ничего особенного… по крайней мере так думал я, когда впервые услышал это звучание.

Как и сегодня это случилось утром. Когда я встал с постели, часы в прихожей показывали половину девятого, утро только начало вступать в свои законные, диктуемые скорой зимой права. Тогда я подумал об огне, который следовало развести в печи, чтобы не дать воде в отопительных трубах окончательно замёрзнуть. Каким-то странным образом мысль об огне пошатнулась и провалилась вглубь мозга, как шаткий брусочек дженги, висящий у самого края. Обычно такое происходило в сильное эмоциональное потрясение, когда шок огромным взрывом вытеснял из головы всё прочее. Но тем утром ни о каком потрясении не могло идти и речь – я свесил ноги с кровати, морально готовясь ко встречи лап с холодом, однако же подушечки даже не успели коснуться половиц, когда голова опустела и послышался звук.

Издали он походил на флейту. Долгую, мучительно медленную и печальную. Похожую на бесконечный вздох, наполненный смертельной усталостью, не физической, а душевной.

Кто-то бы подумал, что у него звенит в ушах. Я же просто лишний раз помотал головой, провёл ладонью по морде и направился из комнаты вон к началу рутинных ритуалов.

Подобное случилось со мной и на второе утро. Поздно лёг спать, сказал я себе, вот всякое и чудится. На третье же утро, хорошенько отдохнувший и никуда не спешащий, осознал, что причина в недостатке сна на деле себя совершенно не оправдывает. Четвёртым утром я никак не мог перестать думать о нём, а, начиная с пятого, грустная игра на флейте полностью овладела моим собачьим существом. Стоило мне закрыть глаза, как тут же появлялся этот звук, а вместе с ним приходили и видения, многие из которых тут же забывались мной.

За одно я всё-таки сумел зацепиться, будто бы то была чудесная идея для рассказа или сцена, аккурат меж действиями героев. Звук флейты огибал сухие стволы деревьев, изъеденных жуками. Деревьев, что ещё держали в своих ветвях разваливающиеся гроздья вороньих гнёзд, словно надеялись, что однажды весной на них вновь набухнут почки, и ветер зашуршит в свежей зелени, и птицы возвратятся в свои дома, откуда пронзительно запищат птенцы. Деревьев, дышащих мёртвой надеждой. Проносился над заросшими сухим бурьяном лугами и тонкими илистыми ручейками, скользил по опавшей листве и увядших цветов, расползался над травянистыми свалками и одинокими заброшенными домами, тянулся вдоль дальних увалов и пустынных трасс, тихонечко напевал позабытым надгробиям и канавам на просёлочных дорогах.

Десятое утро началось с того, что мой взор против воли притянулся к окну. Как и сейчас оно белело прямоугольником из-за штор, и я точно знал, что именно оттуда исходит звук. Из того направления, куда обращено окно моей комнаты. Правда, не могу сказать, откуда именно мне стало это известно. Информация родилась сама по себе, как неприятная уверенность в том, что начатое дело не будет доведено до конца. Звук был слишком тих, чтобы распознать что-то по нему, и, тем не менее, я не сомневался в своей правоте.

Невесёлая флейта, трагично и скорбно доносившаяся в холодном воздухе. Мне казалось, что ничего прекраснее её слышать не приходилось и вряд-ли когда-нибудь удастся услышать вновь. Потому более ни о чём я не думал, боясь потерять звук, как то случилось в первый раз. Не шевелился даже хвост.

На тринадцатое утро я наконец-то решился отыскать источник звука. Этого удивительного и немыслимого музыканта, день за днём играющего свою опечаленную песню несуществующим слушателям. Если бы кто-нибудь вдруг решил спросить у меня, каков себе я представляю этого музыканта, то я непременно пожал бы плечами. И более того – совершенно не стал бы утверждать, что им был фуррь. По крайней мере, не тот, что живёт по соседству с каждым из нас, расчёсывает свою шерсть под душем, ходит на работу, водит автомобиль, зависает в Интернете и многое другое из тому подобного.

Я отбросил одеяло и поднялся на ноги. Лапы опустились на постеленный у кровати старый колючий палас, свёрнутый пополам, но даже так я ощутил исходивший от пола холод. Поёжился, отчего шерсть поднялась дыбом. Казалось удивительным, что настолько длинный и густой шерстяной покров, присущий всем золотистым ретриверам, не мог удержать тепло, накопившееся под одеялом. Или быть может, дело было только во мне, и холод на самом деле витал не снаружи, а внутри меня? Я не знал, однако столбик термометра опустился до отметки девяти градусов. Следовало как можно скорее разжечь огонь в печи, дабы трубы не разверзлись, но я не спешил. Расстегнул пуговицы на фланелевой пижаме, бросил её обратно на матрас и в одних трусах подошёл к окну. Звучание флейты стало капельку громче, практически незаметно с тем, каким оно было до этого, и всё же в изменениях я не сомневался. Источник находился где-то вдалеке за окном, потому-то и не было никаких сомнений.

Взялся за шторы и одним рывком раздвинул их в стороны, пропуская в комнату всё больше раннего света. Разумеется, по ту сторону стекла ничего не было: осыпавшаяся яблоня, за ней – деревянный забор, по которому длинно тянулся засохший вьюнок. Его следовало давно убрать, но руки мои никак не желали этого делать, точно боялись прикасаться к давно умершему растению. После забора тянулись две накатанные полосы, служившие дорогой для всей окраины, а за полосами – пустырь луговых трав. Никаких флейт, никого, кто мог бы играть на них…

От окна исходил холод такой же, как и от пола. Я чувствовал, как его холодная рука касалась моего влажного носа. Прикосновение, словно заигрывающее, а на самом деле жестокое и суровое, преисполненное беспечной яростью ко всему живому. Подушечки на лапах стали покалывать, а я всё стоял и смотрел в окно, прекрасно зная, что ничего нового оно мне не откроет.

А флейта манила, сладостно и печально взывала к себе, как скулёж заблудившегося щенка, желавшего поскорее отыскать знакомую тропу в лесных зарослях.

Я вздохнул. Взгляд соскользнул со стекла и остановился на столе у противоположной у кровати стены. Задвинутый стул, побелевший от кипятка, которым его протирали, с перекинутой через спинку рубашкой. В углу темнел монитор компьютера, а рядом с ним аккуратная стопка новых книг, вытащенных из упаковочной плёнки. В полумраке они почти не отличались друг от друга, а ежели встать у порога, то издали становились абсолютно неотличимы – чёрная коробка на столешнице. Темнота стирает грани мира и растирает их в одно большое, одноцветное пятно на своей палитре. Возле книг белела другая стопка – листы очередного сочинения, невесть какая дрянь, вцепившаяся смертельной опухолью в мой мозг, в мой разум и моё существо. Слезливая история о фуррях, позабывших своё прошлое, и о прошлом всегда помнящем этих фуррей. Бумеранг, который рано или поздно возвращается из полёта. Такое название и носила рукопись, вот уже третий год влекущая за собой. Три года, в течении которых я испытывал и безмерную радость от того, как легко и просто пальцы набирают слова, и обжигающую ненависть, когда те самые пальцы никак не могли направить мысль. Было ещё много чего – я и смеялся не столь над текстом, сколь над глупостью написанного, и плакал, ощущая тяжесть судьбоносного груза на плечах героев, однако никогда до этого я не допускал до себя мысли, насколько отвратительный на деле оказывался мой замысел, как жутко деформировались идеи и фразы в пути от воображения до белоснежного листа «Ворда».

Сейчас, стоя на холодном полу в рассеивающихся потёмках, глядя на белую стопку в две с половиной сотни страниц, ко мне пришло осознание, что ничего более бессмысленного не приходилось мне делать. Пустая трата времени, прикрывающаяся творческим порывом. Мой рот приоткрылся, будто бы собираясь что-то сказать, а затем закрылся обратно. Тыльной стороной ладони я провёл по губам, поморщился от возникшего в голове образа разорванной и смятой бумаги, одной кучей летящей в печное пламя.

Образ я тут же оборвал, как крепкий росток сорняка на грядке, однако от вопроса увернуться не смог: что если бы, так и случилось? Стало ли моей душе легче и веселее?

Давать ответ я не собирался, хотя прекрасно и знал его: время лечит, но так же и калечит. И вслед за этим вновь стало тихо, а в тишине послышалась флейта. Взгляд на миг вернулся к окну, опять поёжился. Тогда я развернулся, натянул на себя рубашку со стула, вытащил из шкафа флисовые брюки, застегнул пуговицу над хвостом, крепко затянул ремень и, больше никуда не глядя, вышел из комнаты.

Часы в прихожей показывали двадцать минут девятого, на дворе стоял ноябрь…

2

Серая трава, покрытая серебристой коркой инея, хрустнула под башмаками. Ледяной воздух с вдохом ворвался внутрь, обжигая горло. А обратно выпорхнул белым облачком пара, которое тут же устремилось вверх, к седой массе туч, беспросветно заволокших небо. На востоке сквозь них просматривалось яркое пятнышко солнца, которое утратило всё своё радушие. Отдалившись, в нём более не чувствовалось того тепла, что ещё два месяца назад согревало фуррей. Теперь солнце стало далёким и чужим, словно призрачный мираж, зовущий к себе несуществующей надеждой. Или позабывший о тебе друг.

Солнце навивало грусть, казалось, вместе с ним исчезла последняя радостная краска, раскрашивающая душу в высокой, сочной траве и тенистой заросли. Та самая краска, что увлекала великих пейзажистов и писателей, учёных и философов – всех тех, кто не мог остаться равнодушным к чудесам природы.

Прощальная ода в недостижимых небесах для умирающей округи, последняя капля в пустом стакане.

Зима в этом году не спешила, и самые дурные опасения держащих поля фермеров подтвердились – земля глубоко промёрзла и покрылась паутиной трещин, в некоторые из которых легко можно было просунуть по рублю. С конца сентября по первую половину октября прошли проливные дожди, а вслед за которыми ударили сильные морозы. Порой температура опускалась до восемнадцати градусов в минусе. Изрытые замерзшими колдобинами колёс дороги поблескивали скованными льдом лужами. И сегодня было не теплее. Я постоял у крыльца всего несколько минут, но уже почувствовал, как холод стал покалывать кончики пальцев. Взглянув на руки, я увидел, что иней стал образовываться и на шерсти. Поднёс их ко рту, подышал на них теплом и сунул в карманы пальто. Прежде чем отправляться в путь следовало полностью очистить свой разум. Последние приготовления несколько отвлекли меня, особенно спутавшийся шарф, с которым пришлось немного повозиться, прежде чем обвязать им шею, и флейта затихла. Но я знал, что если подождать ещё немного, то она обязательно заиграет в голове вновь. В воздухе стояла чарующая тишина. Ветер не шуршал в листьях яблони, а нахохлившиеся на её ветках звонко чирикающие воробьи ещё спали в своих уютных гнёздышках. В такие моменты мне всегда казалось, что мороз не просто охлаждал его, а очищал от всего, что наполняло в тёплые дни, не только физически ощутимого, но и того, что чувствовалось на дальней створке подсознания, неописуемая тягота бытия, о которой мы уже перестаём думать, странным образом пропадает в этом воздухе, отчего пропажа кажется настолько удивительной и непонятной. Проживающие по соседству фурри либо спали, либо всё оттягивали момент выхода на улицу. Только со стороны трассы доносился гул проезжающих машин, иногда громче, когда они проезжали напротив моего дома. От дорожной насыпи К-27 мой дом отделяли четыре километра, и за то расстояние гул в тишине слышался далёким рокотом, будто бы предвещающим нечто зловещее и постепенно приближающееся, не имеющее ничего общего с автомобильным грохотом.

Я снова посмотрел на повисший на заборе вьюнок. Он был полевым, сорняком, с которым многие знакомые мне пытались нещадно бороться. Для них это растение ничем не отличалось от обыкновенного репья, крапивы и полыни, потому и вырывалось нещадно. Однако же я не разделял их мнения. Тонкие стебельки быстро овивались вокруг старых плах, постепенно покрыв собой всю северную часть забора. В июне расцветали его милые нежно-розовые бутоны, не броские, но по своему изящные в присущей полевой простоте. Иногда встречались просто белые, а иногда сиреневые. Особенно приятно было смотреть на них из окна моей спальни, видеть, как иногда пчёлы садились на бутоны и раскачивали их, собирая пыльцу. И вовсе он не походил на сорняк.

Потом они засохли, и мороз довёл дело до конца. Стебли ломались от самого легкого прикосновения к ним, крошились, как давным-давно оставленные кабами фигурки из песка. Мне следовало давно очистить от них забор, в следующем году вьюнок вырос бы вновь подобно всем прочим диким растениям, однако никак у меня не получалось. Я не знал, была ли это обычная лень, иль под ней находилось что-то ещё мне непонятное. Всякий раз, меня посещало намерение приступить к работе, рядом с ней возникало иная мысль, издали отдающая сомнением и неуверенностью, словно я собирался сделать нечто опасное и рискованное, а не обыкновенную уборку.

И однажды, точно так же глядя на них, я задался вопросом: а не сошёл ли я с ума? Вся жизнь в одиночной тени, постоянные страхи и опасения не только окружающих, но и самого себя. Стыд и ненависть, прикрытая золотистой шерстью – извечно пребывающий в движении безобразный клубок странных идей. Здравой и рассудительной части меня казалось, что именно таковым и должен был стать для меня итог. От односельчан до меня доходили истории о похожих фуррях. Что с ними стало? Одни ругали небеса за их безразличие, другие мило беседовали со столбами линий электропередач, третьи безуспешно искали под скамейками в проулках видимых лишь для них существ. Кто-то ползал на животе, облепленный репейником и кажушкой с хвоста до ушей. Кто-то кричал, закинув голову, и рвал на себе шерсть… а до кого-то доносилась флейта.

И ведь я никому ничего не сказал. Я мог бы невзначай подойти к соседу, прекрасному и трудолюбивому волку, готовому в любой момент прийти на помощь, и спросить, не слышал ли в последнее время какие-то странные звуки. Или спросить у его милой жены-толстушки, которая по строгому правилу каждое воскресение пекла морковные пирожки и давала мне пару штук. Мог бы пойти через огороды и поговорить с семьёй лис, мог бы обратиться к каждому редкому прохожему, коему пришлось оказаться на окраине, да только губы всё плотнее и плотнее смыкали рот, а уверенность нарастала…

«Нужно двигаться, – подсказывал внутренний голос, – а то ты здесь замёрзнешь». По трассе промчался большегруз, и постепенно в стихающем от него шуме стал возникать звук. На улице флейта слышалась более громче, нежели за стенами дома, и я направился к калитке.

3

Трава по-прежнему хрустела под ногами. Подошвы оставляли в ней следы практически столь же чёткие, как на снегу или грязи, и подобно же им эти следы никуда не пропадали – примятая трава уже не распрямлялась. Я направлялся на север, всё ближе и ближе к К-27, проходящей параллельно селу, но так его и не касающейся. Возникали одиноко стоящие клёны и вётлы, они были гораздо меньше тех, что росли в населённой черте. Неугодники, вышвырнутые вон своими изящными собратьями, хоть я и знал, что и среди них росли кривые и голые стволы. Иногда судьба улыбается светло и добро, но порой улыбка оборачивалась хищным оскалом, сквозь которую проступал нехороший её умысел. Как в песне, где одни цвели под солнцем, а другие скребли дорогу. Когда те деревья шелестели на ветру, эти одинокие лишь ловили поднимающуюся с трассы пыль. Именно так и происходит с фуррями. В природе не бывает случайностей, оно и есть отражение отразившегося. А сколько речей было брошено о несправедливости судьбы! Сколько слёз омыли её гадкие выкруты!

Я прошёл почти километр, когда на короткий миг обернулся назад. Увидел свой дом, увидел дома соседей, из чьих печных труб вверх ровно поднимался дым. Выходит, соседи всё-таки не спали. Я вдруг представил себе, как они стоят у окон и смотрят, смотрят прямо на меня, невзирая на то, что моя тёмная фигура если и виделась с такого расстояния, то не больше точки, неразборчивый силуэт, которым бы могло оказаться что угодно – тот же столб, давным-давно разрушенной ограды, коя окружала спиленный сад.

Столб – звучит смешно, но в то же время и грустно.

Воображение живо нарисовало мне картину, как волк или его жена (или все вместе) закидывают в пламенеющее чрево печи очередное полено, проталкивают его вглубь закоптившейся кочергой, чтобы не обжечься и не спалить собственную шерсть. Как один неожиданно подзывает другого к окну, с открывающимся в нём пустырём, как раздвигаются плотные шторы и, настороженно прижав уши, серые морды начинают всматриваться вдаль, где постепенно растворялось тёмное пятно (моя золотистая шерсть, разумеется выделялась, но я не думал, что оттуда хвост будет заметен настолько). Волки начинают задаваться вопросом, что может там находиться, постепенно теряют интерес, обратно задвигают шторы и пропадают.

А я иду всё дальше…

По другую сторону села стелилась утренняя дымка тумана. Совсем немного и она поглотит всё село. Я не возражал – туман мог скрыть многое неприятное для глаз.

Поначалу я шёл по накатанным полосам. Здесь ходили грузовики и уборочная техника, когда необходимо было срезать путь. Иногда проезжали автомобили, коротающие путь до съезда на трассу или ещё реже гоняли мотоциклы. Затем я сошёл с них, так как полосы поворачивали направо. Вышел на узкую тропинку, почти затянувшуюся и скрывшуюся в высоком сухом бурьяне. Теперь и одинокие деревья остались за спиной, лишь впереди высились тополиные верхушки лесополос. Вокруг меня царила огромная пустота, по-настоящему захватывающая дух. Убитые морозом травы и растрескавшаяся твердая земля под башмаками. Я плотнее потянул заиндевевший шарф, однако холод всё же умудрялся каким-то образом пробраться за одежду, за шерсть. Тысячи тонких иголочек неприятно покалывали бёдра, основание хвоста, и кончики ушей, торчавшие из отверстий в шапках.

В этом плане вислоухим не везло особо, с невесёлой улыбкой подумал я. Или тем, кто линяет. В такую пору шерсть просто не может быть лишней.

Думать стало проще, и страх потерять флейту практически позабылся. Стоило мысли исчезнуть, как звук приходил на её место, становясь всё громче и громче, ибо насыпь приближалась. Вскоре старая тропинка растаяла и мне пришлось пробираться прямо в траве. Я чувствовал, как обломанные концы втыкались в ноги, как сор прилипал к штанинам и хвосту, но таковым тянулся пустырь до самой трассы, потому ничего поделать не мог.

Проехал ещё один большегруз. На сей раз я смог увидеть его. Это был серый «камаз», вероятно, пустой. Ещё расслышал рёв мотора и скрежет металла, когда колёса грузовика наезжали на очередную яму, кои сплошь усеивали дорогу, а не зловещий рокот тёмных сил из толкиновских книжек. Это значило, что я был уже близок. О том говорил нарастающий звук флейты и убывающая полоска окраинных домов, и тонкая пятерня холода прошлась по спине. К погоде она не имела ни малейшего отношения…

Вскоре я достиг и трассы. Поднялся по её землянистому боку, годами омываемому дождями и талыми водами, с впечатанными в него камнями уже несуществующего щебня. Пыльной, петляющей полосой она убегала по обе стороны, пока не скрывалась из поля зрения в дымке, а впереди чернели убранные поля – незаживающие раны истерпевшейся земли, нанесённые беспощадной, ко всему безразличной фуррёвой рукой. Брошенные колосья, разбитые комья грязи, глубокие следы от колёс уборочных машин, а между ними протягивались лесополосы обнажённых тополей, чья листа покоилась в тех следах. Я сглотнул, неожиданно скривившись от боли, которая последовала за глотком в пересохшем горле. Пятерня не отпускала меня, а лишь глубже проникая в тело, казалось, кончиками пальцев она дотягивалась до моего гулко бьющегося сердца. Бьющегося птицей, уловившей нехорошее предчувствие, потому и пытавшейся покинуть мясистую клетку, пока... пока что?

«Пока не зашёл слишком далеко».

Источник звука находился в одной из лесополос…

4

Я постоял, внимательно вслушиваясь, пытаясь понять, куда следовало направиться дальше. Какая из лесополос была мне необходима. Затем оглянулся по сторонам, пересёк трассу и спустился с насыпи. Но идти стало не легче. Если ранее неудобство вызывала трава, то теперь, здесь, на протянувшейся, казалось бы, до самого горизонта распаханной заплате мной овладевала паника. Ничем не объяснимая и не понятная мне, она распухала в груди, словно брошенный в воду хлебный мякиш, распухала и сдавливала грудную клетку. Дышать носом оказалось бессмысленно и мне пришлось приспустить шарф, судорожно хватая ртом жгучий холод. Похожее со мной случалось, когда однажды в один день из далёкого детства я с головой погрузился в озёрную глубину. Стоя секундой назад на стареньком, сложенном из брёвен пирсе, с которого ныряли другие отдыхающие, не было ни малейшего намёка на страх и неуверенность. Более того, меня распирало азартом. Впервые выбравшись на большое, пусть и мало кому известное озеро, в окружении тогда ещё абсолютно мне безразличных фуррей, вдоволь нарезвившийся на мелководье, а затем насмотревшийся на облепленных мокрой шерстью ныряльщиков, я не думал о том, что что-то может пойти не так. Главное – набрать побольше воздуха в лёгкие и поправить носовую затычку, чтобы та не отпала в воде. Всюду сновали взрослые, от совсем юных до совсем старых, прячущихся в тени огромных зонтов и соломенных полей шляп, и вероятность неблагоприятного исхода, вероятность того, что что-то могло пойти не так выглядела столь же ничтожна, как вероятность цветения ромашек в новогоднюю ночь.

Однако я не знал того, с чем мне предстояло столкнуться.

Я закрыл глаза, разбежался и прыгнул, поджав ноги. Секунда и привычная реальность будто бы уступила место некому новому аморфному пространству. Непрекращающийся гомон с пляжа, далёкий рёв моторных лодок, всплески и бултыхания – всё это исчезло в мгновение ока. Водная тяжесть сковала моё тело, и очередная забава, какого виделось мне погружение с головой, показалась не столь уж и забавной. Несущий по пирсу пыл сменился неожиданным удивлением, за которым таилось тревога. По какой-то причине я все ещё находился в воде, вместо того, чтобы всплыть на поверхность и отдышаться, лапы ощутили песчаное дно, тревога взяла вверх. Как оказалось, глубина у пирса достигала моих плеч, и мне необходимо было всего лишь выпрямиться, чтобы голова оказалась на поверхности. Воздух раздувал щёки, так что я вполне мог просидеть под водой ещё полминуты, но тревога нарастала, быстро в голове промелькнула крошечная мысль, что выбраться мне уже не суждено, что поверхность оказалась слишком далека, и жить оставалось лишь до того момента, пока не кончится воздух. Плавать я не умел, не умею и сейчас.

Настало осознание, полностью противоречащее всем моим ожиданиям, и мощным ударом на меня обрушился ужас. Грудь сковало, невидимые руки легли на шею, весь воздух пузырьками вырвался наружу. Захотелось кричать, но в раскрывшийся рот тут же ворвалась озёрная вода.

Если бы в тот момент меня не схватили руки подоспевшего мужа тёти, в первую очередь заподозрившего неладное, итог ожидал один. Глупый, как думаю теперь, но именно столько стоило незнание.

Нечто чёрное я заметил между деревьями, к которым направлялся. Поначалу не придал тому большое значение, поначалу показалось, что таким образом просматривался клочок земли, однако через несколько шагов до меня дошло, что это была вовсе не земля. Я сбавил шаг, почувствовав, как хвост прижался к ноге, а давление на грудь возросло – меж деревьев действительно кто-то находился, и именно к нему вела меня флейта, звучащая настолько громко, что теперь она прогоняла мысли. Я замер, пытаясь лучше рассмотреть того, кто был впереди меня. До лесополосы оставалось примерно сто метров, может чуть больше, но что-либо увидеть оказалось трудно. Чёрное пятно, с моего расстояния похожее на большой бугор. Только это был вовсе не он – незнакомца покрывала мантия, напомнившая мне одежду средневековых монахов.

Я не заметил ни малейшего признака шевеления с его стороны. К страху примешалось любопытство, шестое чувство подсказывало мне немедленно развернуться и идти, а лучше бежать домой, пока незнакомец так и оставался недвижим, но флейта заглушила нехорошее предчувствие.

Я оказался немного выше того места, где находился незнакомца, так что смотрел ему в спину. Дойдя до травянистой полосы, на которой и росли деревья, я прошёлся вдоль, пока не поравнялся с ним. Части моего существа и тогда не хотелось туда входить, всё ещё боясь привлечь чужое внимание, но существо не пошевелилось даже после того, как под моим башмаком хрустнула сухая ветвь.

Незнакомец в чёрной мантии сидел на давно упавшем стволе тополя, его голову покрывал глубокий капюшон, скрывающий, как мне показалось, всю верхнюю половину морды. По всей видимости, незнакомец подобно мне оказался вислоухим, поскольку на макушке капюшон лежал совершенно ровно. По всей видимости находился незнакомец здесь давно – иней практически полностью покрывал его странную одежду. К холодным белым кристалликам добавлялся прилипший сор: репейник, кажушка, зацепилась тонкая полоска паутинки. Но, несмотря на всё это, образ незнакомца зачаровывал, подобно возникшему из неоткуда бродяге с нечесаной шерстью, запылившихся обносках, и вместе с тем широкой улыбкой и загадочным запредельным в многое повидавших глазах. Зачарованный, однако я быстро понял, что мантия уж больно странно выглядела на нём, словно висела на вешалке. Вероятно, незнакомец был просто тощ. Не увидел и хвоста, хотя в такой холод тот и мог находиться под той же мантией, вместе с тёплой одеждой, наличие которой как-то не особо было заметно: очень худые плечи, ткань будто бы опустилась на голые ключицы, совершенно ничем не прикрытые.

Вдруг мой взгляд соскользнул с его спины на траву. В ней, аккурат у самых ног незнакомца, лежала коса…

По немного неровному и почерневшему от старости косовищу тянулись глубокие трещины. Тут и там на её шершавой поверхности торчали тонкие нити древесных волокон, а верхушку венчало длинное изогнутое лезвие, чья кромка, несмотря на бурую ржавчину, казалось невероятно остро. Хотя, думаю, так и было на самом деле. Литовка, как называли такие косы мои родители, не выглядела чем-то особенно примечательным. Во многих дворах подобные ей хранились на верстаках, или давно забытые покоились на шиферных крышах или в заброшенных сараях вместе с прочей грудой ненужного металла. Однако в глубине души, где рождались предчувствия или ничем не обоснованные опасения зародилось уверенность, что коса, как и застывшая над ней фигура в мантии не принадлежали этому миру. Точно явились извне.

Совершенно ничего примечательного, однако коса дышала суеверным страхом. Я уставился обратно на спину незнакомца.

«Неужели я вижу это на самом деле? Неужели…»

Словно услышав мои мысли, незнакомец медленно, тихо шелестя капюшоном об плечи, обернулся, и взгляд мой застыл в двух пустующих глазницах вороньего черепа, и сердце моё на миг ушло в пятки.

Мне и раньше приходилось видеть такие кости. Иногда, прогуливаясь по зарослям далеко за домом, невольно натыкаешься на птичьи останки. Но от вида этого черепа моя голова пошла кругом. Глазницы были не просто большие, а громадные, размером с мой кулак, а под ними располагались меньшие носовые отверстия, отделенные тонкой верхнечелюстной костью. Череп имел желтоватый оттенок, но сам клюв, где и были носовые отверстия, совершенно ничем не отличался от цвета живого ворона.

В двух провалах не было глаз, и, тем не менее, я ощутил, как незнакомец смотрел на меня, совершенно живо, точно всякий другой повстречавшийся на улице фуррь. Сквозь глазницы виделась задняя стенка черепа, а сам он застыл в каменном, ничего не значащем выражении, однако я почувствовал в невидимом взгляде настоящую точку и грусть, с какой меланхолично провожают закаты или вслушиваются в стук дождевых капель, падающих в набравшиеся под крышей лужи.

Флейта затихла, по трассе промчался автомобиль.

– Привет, золотой пёс, – поздоровалась Смерть. Её клюв не пошевелился, и голос прозвучал прямо в моей голове.